

АЛЕКСАНДР СЕГЕНЬ



ХРИСТОС ТАНЦУЕТ

РАССКАЗЫ

ПРЕСТАРЕЛЫЙ ДОМ

В последние годы бабушкиной жизни мы жили с ней вдвоём в Измайлове, в двухкомнатной квартире, из которой в 1972 году ушёл на Николо-Архангельское кладбище мой дед Тимофей Степанович, а в 1983-м — моя мама Нина Тимофеевна. Смерть дочери так придавила бабушку, что мне казалось, она задыхается от горя. Серебряная цепочка, на которой она носила крестик, в те дни оказалась чёрной, и её пришлось долго отчищать. Я боялся, что бабушка недолго протянет, но, русская деревенская женщина, она выбралась из завалов страданий, чтобы ещё пожить, походить по лесу, хотя бы по такому бестолковому, как Измайловский.

В русском языке есть слова “бездетный”, “бессердечный”, “безголовый”, “безденежный” — эти понятия знакомы. А про лес не говорят: “безгрибный”, “беззайный”, “безлисий”, “бесчерничный”. Русский человек не может себе представить, чтобы в лесу не было грибов, зайцев, лис, черники, земляники.

— Об одном мечтаю, — говорила бабушка, — пособирать бы грибов напоследок.

Но ехать в родные смоленские леса наотрез отказывалась:

— Помирать со дня на день, а я разъезжать стану. Не приведи Бог, в дороге копыта откину.

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич родился в 1959 году в Москве. Доцент Литературного института им. А. М. Горького. Прозаик и кинодраматург. Автор книг “Похоронный марш”, “Страшный пассажир”, “Державный”, “Русский ураган”, “Поп”, “Господа и товарищи”, “Митрополит Филарет” и “Алексий II” (серия ЖЗЛ) и многих других. Живет во Внуково.

И тут начиналась игра в смертушку.

Бабка у меня была игручая. Ляжет эдак, руки на груди — померла. Я веду беседу с похоронным агентом:

— Гробик, пожалуйста, самый хороший. Но не самый дорогой, покойница бы этого не одобрила. Венок один, пожалуйста, на ленте напишите: “Дорогой бабушке от любящего внука”. Нет, нет, не внука, а именно унука. Она слово “внук” только так выговаривала. Так... Что ещё? Машина. Грузовик с откинутыми бортами. Я в кузове сяду, и чтоб видно было — Клавдия Фёдоровна на Николо-Архангельское едет. Оркестр. Пять человек, не больше. Труба, кларнет, гобой, геликон обязательно, большой барабан обязательно.

Потом приходили соседи, и я им говорил:

— Отмучилась. Тихонько отошла в мир иной. Вечером покушала селёдки с картошечкой, попила чайку с подушечками, дочитала “Робинзона Крузо”, уснула, а утром не проснулась. Вот так.

А соседи моим голосом:

— Ой, всем бы такую смерть! Как же ты теперь, Саша, без бабушки будешь? Скучно тебе без неё станет. Она у тебя весёлая была, заводная. Все её любили. Отпевание-то будешь заказывать?

— А как же! Чай, она была верующая, православная христианка.

— Что приготовить, мы поможем, говори, не стесняйся. Чтоб ни в чём не было недостатка. Блины там, мёд, кутья...

— Да я сам всё приготовлю, вы только приходите обязательно на поминки.

Приносили последнюю пенсию.

— Вот, распишитесь, тут в тройном размере. Бабушке вашей, как заслуженному работнику страны, напоследок троекратную пенсию от государства выплачивают. Уж такая у нас страна. Своих героев ценит.

Приезжал Горбачёв:

— Я на одну минуточку, так сказать, оказать почать. Вот и Раиса Максимовна тут... Да, жаль, не дождала старушка до плодов нашей перестройки.

Тут бабушке надоедало быть мёртвой, она оживала и приступала к разбору полётов:

— Ну, какой тебе Горбачёв приедет? Думай хотя бы головёнкой-то своей. Да ещё с Раисой. Да и больно он мне нужен, трепло едакое. И про пенсию, что в троекратном размере, это уж ты, унучек, загнул. Хотя б какую напоследок выдали, и на том спасибо. Ты на мою пенсию всё и устрой, и поминки, и похорона. И нечего разбрасываться! Всё он сам приготовить! Ишь ты, богач какой! Пусть приносят, если кто хочет принести. Ты, что ли, блинов напекёшь? Холодец умеешь варить? То-то же. Теперича дальше: гроб. Самый дешёвый бери.

— Здравсьте!

— Не здрасьте. В дорогой не лягу.

— Это как это ты не ляжешь?

— Руки растопырю.

— Не растопыришь, не бойся. Дед говорил, что встанет, когда отпевать его принесёшь, так не встал же.

— И венок. Ну, зачем он нужен? Просто цветочков нарви где-нибудь, да и ладно. Люди всё равно цветов принесут. Про отпевание — молодец. Только много попам тоже нечего баловать. Они и без тебя хорошо живут. На “Чайках” ездют. Не все, конечно, есть и честные. К отцу Виктору меня определи, пусть он отпевает. Я ему однажды пятьдесят копеек сунула, так он мне двугривенный назад отдал. Хороший поп. У нас такой в Сережани был. Гундосый. Хоть и гундосый, а хороший. Понимал людей. Теперича про оркестру. Ну, какая тебе оркестра! Я что тебе, полковник? Подумай хорошо, прежде чем делать.

— Ладно, оркестр не буду заказывать. А хороший гроб и красивый веночек — извините, Клавдия Фёдоровна, это вы мне не запретите!

Тронутая хорошим гробом и красивым венком, бабушка сменяла ироничный тон на сентиментальный:

— Ты же ж мой унучек дорогой! Дай же ж я тебя поцелую!

Другая любимая игра была в престарелый дом. Начиналась она с очередного бабушкиного косяка. Допустим, вернувшись домой с работы, я окупался в зловонный быт погорельца:

— Ну, бабушка! Опять ты сковородку сожгла!

— Хотела картошечки пожарить к твоему приходу, да и забыла, молодость села вспоминать и...

— Не надо ничего к моему приходу. Я сам всё готовлю и тебя кормлю. Ну, как теперь весь вечер этой гарью дышать?

Тогда бабушка садилась на свой диванчик и, тяжело вздохнув, заявляла с полной ответственностью:

— Ну что же, сдай меня в престарелый дом. Узнай, как там и чего охормляется. И не думай, что я шучу. Сдай, и всё тут.

— В престарелый дом? Ладно. Только завтра, ладно?

— Завтра? Я согласна.

Утром я будил её в семь утра:

— Вставай, бабка, чего разлеглась! Тут тебе не дома. Тут тебе престарелый дом.

— Ой, — вскакивала Клавдия Фёдоровна. — А сколько время?

— Сколько время ей! Твоё время давно уж кончилось. Небо только коптишь, да и только! Садись чай пить, ископаемое! Где твоя кружка?

— Стойтя, а умыться-то можно хотя бы?

— Умыться ей! Её обмывать давно пора, а она — умыться. Ладно уж, иди умывайся. Да долго там не плескаться, ты тут в престарелом доме не одна. Целая поляна божьих одуванчиков.

Видно было, как же ей такая игра нравится! Она робко шла умываться, из ванной возвращалась покорная, опустив глаза долу, брала свою кружку, чайную ложку, садилась за стол завтракать. Я наливал ей кипятка, в который падали две-три капли заварки, выдавал одну печенинку.

— Щевой-то щаёк у вас в престарелом доме жидковат, — поднимала она робкий бунт.

— Щаёк ей жидковат! — возмущался сатрап. — Ты что, дома у себя? Жила бы в своём доме, да и пила бы крепкий. У нас, знаете ли, в престарелом доме не разгуляешься.

— А сахару?..

— Один кусочек полагается, не больше.

— А печенье тоже одно только?

— А сколько же тебе, два?

— А конхветку?

— Чего? Конфетку? Может, тебе ещё торт вафельный?

— Неплохо бы.

— Сиди уж, пей свой чай, а то и это отберём.

Довольная игрой, Клавдия Фёдоровна растягивала удовольствие, медленно съедала печенье, запивая пустым чаем. Со вздохом перемещалась на свой диванчик, а если по пути включала телевизор, тотчас слышалось грозное:

— Кто разрешил? Что за самоуправство?

— Так, кинцо бы посмотреть...

— Кинцо? На вас что, государство должно электроэнергию тратить? Пусть вам родственники на батарейках телек покупают, смотри, сколько влезет.

Погулять на улице и то из престарелого дома её с трудом отпускали и ненадолго. На обед подавали суп, в котором, кроме риса, лука и моркови, ничего не водилось.

— Щевой-то у вас суп — одна вода?

— А как вы хотели? Вода, вода, кругом вода.

— Мясца бы кусочек.

— Мясца? Не выросла овца!

— А на второе что?

— Картошка. Радуйся, бабуся, сегодня шоре.

— Туда бы селедочки кусочек...

— Может, ещё осетринки? Извините, не наловили.
Вечером в престарелом доме назревал бунт:
— Везде хоть сколько-то, а разрешают телевизор показывать.
— А мы вас тут и не держим, ваше величество. Ступайте на все четыре стороны.

— Куда же ж я пойду, коли меня в престарелый дом сдали?
— Уж не знаю. Многие старики в чистом поле живут, на помойках.
А она тут в тепле, в сытости и недовольна.

— Хоть бы на ужин селёдки дали, а то опять картошка голая.
— Опять двадцать пять! Селёдка у нас за отдельную плату.
— Сколько?
— Три рубля порция.
— Жулики вы тут в этом престарелом доме.
— Жизнь такая, бабуля. Детей чем-то кормить надо. Вот и крутишься.

Ладно уж, включу тебе на полчаса телевизор, я добрый сегодня.
— Яблочка бы ещё...
— Яблочка? Может, ананасов? Яблочки пусть тебе родственники привозят. У тебя родственники остались хотя бы?

— Унук есть. Саша.
— Ну, и где он?
— А вот скоро приедет и заберёт меня отсюда.
— А чего ж он тебя сюда-то сбаврил?
— Я сковородки жгла, потоп в ванной делала, селёдочными руками ступля пачкала...

— Вот как тебе твоя селёдка-то боком вышла.
— Это уж точно.
— Может, всё же простит тебя внук, заберёт отсюда?
— Хорошо бы. А то уж больно у вас тут в престарелом доме говённо.
На следующее утро я будил её с радостной вестью:
— Вставай, бабуля, внук за тобой приехал. Домой забирает. Очень уж он у тебя добрый.

— Унучек мой! Сашенька! Приехал! Прости меня за усё!
— Да ладно тебе, бабушка. Поехали уж домой.
Она весело шагала умываться, возвращалась из ванной радостная.
— Ну, вот я и дома. Нельзя ли чайку хорошего? А то там, в престарелом доме, поили какими-то ополосками.

— Ага, знаешь теперь, каково в престарелом доме!
— Знаю, унучек. Не приведи Бог там дни свои доживать.

И на столе перед ней появлялись бутерброды с докторской колбасой, чай душистый, печенья целая ваза, варенье, мёд. Позавтракав, она шла гулять, сколько захочет. На обед — курица, на ужин — желанная селёдка. Телевизор — пожалуйста, включай, смотри.

— Ну что, в престарелом-то доме лучше тебе было?
— Какой там! Страшно вспомнить! Не то, что телевизор, книжку не дадут почитать. Где там мой “Робинзон Крузо”?

Шедевр Даниэля Дефо она читала целый год. Однажды сказала:
— Щевой-то я читать умею, а до сих пор ни одной книги не прочитала. Дай-ка мне какую получше.

И стала читать. Медленно, по странице в день. Прочтёт и обдумывает прочитанное, вздыхает, сопереживает.

— Вот как у людей жизнь складывается...
Когда одолела, я предложил:
— Ну, какую тебе теперь книгу посоветовать?
— Не надо. Хватить.
— Как? Всё?!
— Теперича я знаю, что книги — это не дурь какая.
— Ну, так и бери другую.
— А вдруг она плохая?

Так и не стала другие книги брать, и все её литературное образование ограничилось “Робинзоном Крузо”. Было у неё собственное Евангелие,

но его она не читала, а держала при себе рядом, как некий прибор, который действует благотворно, если находится под боком. В церковь ходила постоянно, подавала записки о здравии и упокоении, которые я ей писал заранее во многих экземплярах, а она мне диктовала имена, кого надобно помянуть. К христианским понятиям она относилась с уважением, но и с некоторыми примечаниями и сносками.

— Говорят, Дева Мария родила от Святого Духа. Как это?

— Ну так, — пожимал плечами я. — Божественное чудо. Ведь у Иисуса Христа Отец — Бог.

— Вот в это я щевой-то не верю. Сколько живу, нигде такого не видывала и не слыхала.

— Ну, потому что это и не должно быть широко распространено. Ясное дело — чудо. А в то, что Христос воскрес, веришь?

— Верю.

— Почему же в непорочное зачатие Богородицы не веришь, а в Христово воскресение веришь?

— Потому что в церкви всегда кричат: “Христос воскрес!”

— Железная логика!

Думаю, что она, как многие, принимала христианство не умом, а сердцем, что гораздо важнее и сильнее, нежели умом без сердца, хотя в полном должны быть и сердце, и ум вместе.

Бабушка жила больше не по Евангелию, а по церковному календарю. На Крещение рисовала на двери мелом крест, который потом через несколько дней смывала. На Благовещение выпекала жаворонков — печенье в виде птичек, у которых вместо глаз изюминки. На Пасху пекла кулич и красила яйца луковой шелухой и кусочками материи — синие, красные, желтые, зеленые. Хотя я больше всего любил и всегда люблю луковые, особенно когда они с трещинкой и вкус луковой шелухи ощущается сильнее. Ни один из праздников она не пропускала, зная, что в какой надо сделать или сказать.

— Петр-Павел час убавил. Илья-пророк два уволок.

— Сегодня Сретенье. Кого на улице встретишь, всем добра пожелай.

— Нонче Никола Угодник. Положено всем людям угождать.

— И сволочам?

— Нонче сволочей не бывает.

— Как это не бывает? Очень даже бывает!

— Сам не будь сволочью, и вокруг тебя сволочей не будеть.

Во многом Клавдия Фёдоровна проявляла настоящий крестьянский прагматизм. Иногда у неё ни с того, ни с сего начинала идти носом кровь. Тогда она вставала над раковиной в кухне и капала туда кровью, пока той не надоедало литься.

— Это у меня избыток крови.

Меня удивляло её постоянное стремление всё делать самой — подметать, мыть пол, посуду, готовить, чинить, шить, стелить кровать.

— Кто сам всё делает, дольше проживёт. А кто за других всё делает, и вовсе дольше всех проживёт.

Бабушка прожила восемьдесят шесть лет. Однажды утром не смогла встать, руки и ноги почти не слушались. Затем началась сильнейшая диарея, и пришлось вызвать “скорую”, которая увезла бабушку в больницу. Там я дежурил при ней два дня. Она была почти без сознания. Когда я в очередной раз подмывал её, она очнулась и весело сказала:

— Вот здорово! Когда-то я унуку попу мыла, теперь он мне.

Через пару дней диареею как-то победили, бабушка впала в забытьё, и врачи разрешили мне поехать домой. Утром я снова приехал в больницу, и мне сказали, что за час до моего приезда она скончалась. Очень душевная медсестра поведала мне, как это было.

Клавдия Фёдоровна всегда просыпалась на рассвете:

— Кто рано встаёт, тому Бог даёт, — говорила она.

Вот и перед своей кончиной она проснулась с первыми лучами солнца. В глазах у неё сверкала радость. Медсестра подошла к ней, спросила:

— Как вы себя чувствуете, Клавдия Фёдоровна?

— Хорошо, — ответила моя бабушка. И добавила: — Скоро за мной унук приедет. И заберёт меня отсюда. Из престарелого дома.

И с этими словами душа её радостно полетела домой. Но не в московскую квартиру, а совсем домой, домой-предомой — туда, откуда она прилетела восемьдесят шесть лет назад, чтобы поселиться в маленькой девочке Клаве, родившейся в селе Высоцком Вяземского уезда Смоленской области.

Я не знаю, как она выглядела в детстве и юности. Самая ранняя из её сохранившихся фотографий относится к 1931 году. Лето, она уже беременна моей мамой, на коленях держит моего дядьку и крёстного, Александра Тимофеевича, а справа от неё — мой дед Тимофей Степанович, моя прабабка Анастасия Васильевна, мой дядя Фёдор Тимофеевич и какая-то неизвестная девочка. Дяде Саше здесь три года, дяде Феде — восемь, бабушке — двадцать восемь, дедушке — тридцать шесть. Благополучное для всей их семьи лето. Зимой 22 декабря родилась Нина, моя мама. 27 января 1932 года её крестили в честь равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Тимофей Степанович и Клавдия Фёдоровна вели своё добротное крестьянское хозяйство, про которое уже говорили, что оно кулацкое, хотя батраков они никогда не имели — всю работу исполняли сами.

Через несколько лет им пришлось бежать от раскулачивания в Москву, бросить своё хозяйство, долгое время жить без своего угла, ютиться, где придётся. И лишь когда дед устроился в Метрострой, они получили комнатёнку в бараке. Дедов брат, милиционер Павел Степанович, устроил бабушку уборщицей в отделение милиции. В 1939 году произошло страшное событие с участковым милиционером из этого отделения. Вскрылось, что он и его жена по ночам грабили и убивали пьяных и проституток. На их счету скопилось множество убийств. Они бежали в свою деревню и там долго отстреливались, пока и его, и её не пристрелили. На летней жаре тела быстро стали разлагаться. В доме у них был накрыт богатый стол и лежала записка: “Помните нас!” Односельчане собрались поминать — выпить и закусить всем хотелось, немногие были богаты. Но как только подняли первую рюмку, вдруг под потолком взорвалась лампочка, и осколки разлетелись по всему столу. Люди так и бросились врассыпную — кто в дверь, кто в окно. Эту историю бабушка потом любила часто рассказывать как весьма назидательную. И один из моих первых рассказов был написан именно на этот сюжет.

Наступил страшный 1941 год. Мой дядя Фёдор Тимофеевич за свой высокий рост имел прозвище Фёдь-достань-воробышка. В первые дни войны он ушёл на фронт воевал в мотоциклетных войсках. В августе и сентябре отступал вместе с нашими войсками, всё больше приближаясь к своим родным местам. В конце сентября линия фронта встала между Ярцевым и Сафоновым, а 2 октября началась Вяземская оборонительная операция, целью которой было как можно дольше сдерживать врага, рвущегося на Москву. В ходе битвы немцам удалось прорвать оборону советских войск, 7 октября танковые группировки противника соединились под Вязьмой, совершив окружение наших. Образовался котёл окружения от Сафонова до ближних подступов к Вязме. В этом котле оказались и родные места Кондрашовых, где рождались и росли мои предки. А моему дяде Фёдору Тимофеевичу суждено было погибнуть там, где он родился. Незадолго до этого он побывал в родном селе и сказал, что все горят решимостью драться насмерть. Так что вернее всего полагать, что он погиб в этом страшном вяземском котле, хотя в скорбной повестке, полученной дедом и бабкой значилось, что их сын Фёдор пропал без вести. Бабушка конечно же надеялась что он попал в плен и выжил, и лишь в старости она стала говорить:

— Нет, наверное, погиб мой Федечка тогда же, у сорок первом.

Вяземская операция стала первым сражением на дальних подступах к Москве, враг продолжал рваться к сердцу России, немецкие самолеты бомбили Москву. Бомбили и Измайлово. Во время одной из бомбардировок в начале ноября погиб мой прадед Степан Семёнович Кондрашов. Он отказывался идти в бомбоубежище, говоря: “Я на своей земле и никуда не хочу прятаться”. Он сидел у самовара и пил чай, когда осколок бомбы пробил две стены

дома и попал ему в голову. Похороны состоялись 9 ноября на Измайловском Рождественском кладбище.

Моя бабушка Клавдия Фёдоровна тоже участвовала в битве за Москву — всю осень она доблестно трудилась на создании оборонительных рубежей. В январе 1942 года битва за Москву была выиграна окончательно. Враг получил первое сокрушительное поражение.

— Я тоже в битве за Москву участвовала, — с гордостью говаривала моя бабушка.

Москва, конечно, не блокадный Ленинград, но и в ней нечего было есть. Чтобы как-то ещё подкормиться, люди выбирались из города и ездили по полям, подбирали недоубранную картошку, морковь, свёклу. Набрать несколько килограммов считалось огромной удачей. Однажды милиционер задержал мою бабушку с добычей.

— Дай Бог ему здоровья! — искренне желала здравия этому милиционеру Клавдия Фёдоровна, рассказывая мне впоследствии. — Такой хороший оказался! Картошку забрал, а меня не стал арестовывать, отпустил.

И всё же кое-как жизнь налаживалась. Дети вновь ходили в школу, помогали родителям раздобыть пропитание. С этого года в Москве стали отмечать артиллерийским салютом все крупные победы наших войск над незваными гостями.

В 1944 году Клавдия Фёдоровна была награждена медалью “За оборону Москвы”. Так оценили её самоотверженный труд на строительстве оборонительных сооружений. О ценности награды свидетельствует то, что всех награждённых ею было немногим более тысячи человек.

И вот наступил 1945 год, долгожданная Победа!

В 1946 году моя бабушка Клавдия Фёдоровна получила ещё одну награду — медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”. В отличие от первой эта медаль — самая распространённая награда, за эту войну ею было награждено 16 миллионов человек.

Кондрашovy по-прежнему жили в бараке — на всех одна большая комната, где, кроме дедушки, бабушки, мамы и дяди Саши, постоянно обитали какие-нибудь бабушкины или дедушкины родственники. Тимофей Степанович наконец тоже получил советскую награду — медаль “800-летие Москвы”. Ею, кстати, было награждено не так уж много москвичей — всего полторы тысячи человек.

Барак, где жили Кондрашovy, располагался на Измайловской площади напротив Дома культуры строителей. Площадь стала называться Измайловской в 1949 году, а Дом культуры построили в 1951-м. В том бараке на Измайловской площади я провёл первые два года своей жизни, которые совершенно не помню.

Счастливейший 1961 год! В день моего рождения полетел Гагарин, а летом в нашей семье произошло радостное событие. Мы расстались с баракom на Измайловской площади, который был обречён на слом, и переехали в блочную пятиэтажку на Третьей Прядильной улице. В двухкомнатной квартире поселились мои бабушка, дедушка, мама и я. Мой отец к этому времени окончательно исчез. Они с мамой развелись. Мой крёстный дядя Саша с женой Светланой и сыном Андрюшей получили в нашем же доме однокомнатную квартиру в соседнем подъезде на третьем этаже. Тридцатая — так мы её называли: “Пошли в тридцатую!”, “Завтра в тридцатой гости”...

Когда мы поселились на Третьей Прядильной, там ещё оставались деревянные дома, деревенские, ведь некогда тут была деревня Измайлово. Точнее — село, потому что имелся храм. Церковь так и называется — храм Рождества Христова в селе Измайлово. В эту церковь бабушка ходила постоянно, в ней и меня крестили совсем ещё маленького. По настоянию бабушки, которая по своим крестьянским понятиям считала, что крестить младенчика надо как можно быстрее, дабы не умер некрещёным. В деревнях же смертность была высокая.

Бабушка Клава оставалась в моей семье единственной хранительницей крохотного огонька Православия. Всю жизнь она ходила в церковь по пра-

здникам, подавала записки о здравии и о упокоении. Дед и мама время от времени спорили с ней, будучи неверующими.

— Ну, ты что, всерьёз веришь, что Дева Мария могла родить от Духа Святого?

— В это я не верю, — вздыхала бабушка. — А в Бога верю!

— Ну, где Он, твой Бог? — возмущался дед. — Космонавты уж сколько летают, а до сих пор никакого Бога на небе не встречали.

— Так Он прямо там сидит и ваших космонавтов ждёт, — сердилась бабушка. — У него делу без йих хватает.

— Ну да, записки твои читать!

— Не хочу и слушать вашу щепуху!

Странное дело — если мой дед, Тимофей Степанович, вполне освоил московскую нормативную речь, то моя бабушка, Клавдия Фёдоровна, ни единым звуком не поступилась, и прожив в Москве всю вторую половину жизни, даже больше — пятьдесят один год из восьмидесяти шести, отпущенных ей Господом, — она до последних минут своей жизни говорила на исконном смоленском наречии, представляющем собой нечто среднее между московским и белорусским произношением. В словаре Даля оно подробно описано, но со времён, когда словарь писался, смоленское наречие претерпело значительные изменения, утратив многие белоруссизмы. Исчезло дзеканье, предлог “с” перестал произноситься как “з”, аканье перестало быть столь приторным, как о нём писал Даль, исчезла замена мягкого “ль” твердым “л” в таких словах, как “пальцы”, “кольцо”. Но многие черты, обозначенные Владимиром Ивановичем, сохранялись. Буква “г” перед гласными осталась придыхательной, осталось сильным яканье, дожила до двадцатого века “ў” — “у” краткая, как в белорусском языке.

Вот краткий словарь моей бабушки: петух — пятах, не хочу — ня хочу, меня — мяне, вторник — аўторник, озеро — ўзеро, Петров — Пятроў, Великий пост — Вяликий пос, он — йон, его жена — явоная жана, чай — шай, испеку блинков — спяку блинкоў, четверг — четверьх, умный — ўмный, утро — ўтро, лежит — ляжить, Фёдор — Хвёдор, Тимофей — Тимохвей, всегда — ўсягда, Клавдия — Клаўдя, идиот — йедиот, свиньей — свиннёй, с тещей — с тещуй, еврей — яўрей, в Вязме — у Вязме, внук — унук, ночью — ночуй, её муж — яёный муж, их дети — йихние дети, Одигитриевская церковь — Йигитриўская церква, с Витей — с Витуй, чепуха — щепуха, девка — деўка, встреча — аўстреща, шесть — шесь, семь — сем, восемь — ўосем, завтракать — заўтрикать, вишня — вишенье, ножницы — ножни, сейчас — щипас, плакать, хныкать — брюнзы складывать. Мама очень сердилась, когда бабушка говорила “тиятр” или “сиямская кошка”, заставляла бабушку учиться произносить правильно, и бабушка ходила по квартире, громко и нарочито повторяя: “те—Атр”, “си—Амская”!

В детстве она любила рассказывать мне “Бременских музыкантов”, но только в своём, вяземско-смоленском варианте. Ещё я любил слушать одну её песню, которую потом использовал в “Страшном пассажира”, но здесь хочу воспроизвести в бабушкином произношении:

*Пошла Уоля в лес гулять-лять-лять,
Да цветоцки собирать-рать-рать,
Тихо всё в лесу молицить-щить-щить.
Лишь кукушуцка крициить-щить-щить.
“Ты, кукушуцка, скажи-жи-жи,
Усю прауду доложи-жи-жи.
Сколько лет еще вясной-ной-ной
Поўстрещаемся с тобой-бой-бой?”
Стала птицка кукувать-вать-вать.
Стала девушка считать-тать-тать:
“Двадцать, тридцать, сорок, сто-сто-сто,
Ай, спасибо и за то-то-то!”
Во дворе слуцилась драка-драка-драка,
Гусь поссорился с свиней-нёй-нёй.*

*Куры ў драку уступили-пили-пили,
И пошёл кровавый бой-бой-бой.
Аўдруг откуда ни возьмися-мися-мися
Щернобурая лиса-са-са.
Куры с гордостю спросили-сили-сили:
“Вы откуда, господа-да-да?”
“Мы — сестрицки-молодицки-дицки-дицки
Стару гусю молодцу-цу-цу,
У няво была пярुшка-рушка-рушка
И поминки по отцу-цу-цу...”*

Такая странная песня, особенно в своей второй половине, где про драку во дворе. Вероятно, бабушка просто не помнила некоторых связующих смысл куплетов и пела лишь то, что сохранялось в памяти.

Потом, когда я учился в Литинституте, нам было дано задание на лето: отправиться в какую-нибудь глухомань и там собрать особенности языка местных жителей. Я и отправился — сел напротив бабушки Клавды и заставил её говорить, рассказывать, петь, вспоминать всякие прибаутки. В итоге, когда я осенью сдал свою работу, преподавательница языкознания Людмила Александровна Качаева особенно выделила мой труд:

— Большинство из вас отнеслись к заданию халатно. А вот Александр Сегень, видно, что объездил всю Смоленскую область и собрал, в итоге, богатейший материал!

Ещё было одно очень смешное слово, которым она меня называла, — “кындрик”. Этимология такова — от немецкого Kinder.

Есть такая песня:

*В селах Рязанщины, в селах Смоленщины
Слово “люблю” непривычно для женщины.
Здесь, беззаветно и сильно любя,
Женщина скажет: “Жалею тебя!”*

Это верно. Моя бабушка Клавдия Фёдоровна всегда говорила мне:

— Как же я тебя жалею. Сашулечка, унучек! Жалкий ты мой!

И “жалкий” означало “любимый”, а отнюдь не “вызывающий жалость”.

На Смоленщине и впрямь все так и говорили. А на Смоленщину мы ездили в моём детстве каждое лето. Там жил бабушкин любимейший племянник Михаил Михайлович Петров. Он служил егерем в охотхозяйстве. Замечательный, можно даже сказать — выдающийся человек. В детстве он подорвался на mine, ему оторвало правую руку и страшно сожгло грудь и лицо. При первой встрече с ним любой испытывал естественное отвращение, но стоило пообщаться с дядей Мишей, как в первые же пять минут уродство куда-то улетучивалось. Не имея правой руки, Михаил Михайлович Петров был весьма ловким и умелым человеком, он здорово пользовался коротенькой култышкой, оставшейся от руки, всё, что можно, зажимал ею под мышкой — патроны или спичечный коробок, к примеру, а левой рукой орудовал так, как мало кто орудует обеими верхними конечностями. Он великоленно стрелял, работал всеми инструментами, водил плуг, плавал быстрее всех, лихо водил машину. Очень смешно бывало, когда кто-либо спрашивал его:

— Михалыч, а в какую сторону ехать, чтобы попасть туда-то?

А у него и рука занята и подмышка под култышкой. И он, нисколько не смущаясь, мог указать босою ногой, используя большой палец ноги в качестве указательного:

— Во-о-он у ту сторону.

В жёны дядя Миша взял женщину с двумя сыновьями, Геной и Славой, и тётя Таня родила ему ещё двоих — Валеру и Юру. Валера был на год меня старше, а Юра — на год моложе. Они стали моими деревенскими друзьями. Валера был черномазенький, за что носил кличку Цыган. Поговаривали, что, когда дядя Миша женился на тёте Тане, она уже была беременна от

какого-то залётного цыгана. И дядя Миша, когда гневался на Валеру, обзывал его цыганом с обидной интонацией в голосе. Юрка был ему ближе и похож на него. За излишнюю плаксивость и капризность Юрку прозвали Гуней.

Деревня очень много давала мне, моему здоровью. Здесь я забывал про обувь и целыми днями бегал босиком. Взрослые брали нас в ночное, где мы сживали и спали у костра. В Вязме-речке водилась рыба, которую мы ловили самодельными удочками, в основном это были окуньки, плотвички, карасики, гораздо реже — щучки и подлещики. Не помню, чтобы кто-нибудь из нас хоть однажды поймал крупную рыбу, — всё мелочовка.

Из Якушкина я возвращался, полный запахов сельской жизни. Что это была за жизнь! Бесконечная череда событий и всяческих наиважнейших предприятий. Сенокос, грибы, рыбалка, земляника, черника, малина, путешествия к родственникам...

Питались мы простой и грубой, но необыкновенно вкусной едой, приготовленной Клавдией Фёдоровной. Самым любимым блюдом являлась картош-ня. Закрываю глаза и сейчас остро чувствую её дивный аромат! Делалась она так: варёная картошка разминалась со сливочным маслом и яйцами и выкладывалась в большую сковороду, сверху ещё обмазывалась яйцом и ставилась в печь. Через некоторое время из печи выходила она — её величество Картошня, дымная и ароматная. Как торт, её нарезали на доли и раскладывали по тарелкам. Кусок картош-ни и кружка парного молока — вот вам завтрак и обед. На ужин обычно были макароны с домашней или магазинной тушёной — это тоже очень вкусно. Да, ну и, конечно, щи да каши. Здоровая деревенская пища. По воскресеньям резали курицу и делали наваристый куриный суп. В хозяйстве у дяди Миши водились овцы. Овцу или барана резали на Петров день 12 июля и в праздник Смоленской Божьей Матери 10 августа.

В семействе Петровых особо почитали день Петра и Павла, хотя в Петровский пост совсем и не постились. Но рано утром ехали на погост украшать могилки и поминать предков. Ехали на телеге. У Петровых было два коня: один — молодой и сильный, для работы, классический гнедой конь Орлик, а второй — старый, унылый, для медленной езды на телеге. Этот был белый в серых яблоках и звали его красиво — Альбом. Бывало, едешь, а он то и дело оттопыривает хвост и пускает ветры. А бабушка, по грубости своей, непременно скажет деду:

— У тощности как ты, Тимох. Такой же старый пярдун!

И смеётся. А дед сердится, но тоже улыбается.

Погост располагался километрах в пяти от Якушкина, на высоком холме, под которым течёт Вязма-река. От храма остались лишь два нижних яруса колокольни. В 1941 году немцы, ликвидируя Вяземский котёл, бомбили засеянных на колокольне пулемётчиков Красной армии. Кто знает, может, среди этих пулемётчиков был и мой родной дядя Федя.

Это место, где погост и остатки храма, когда-то называлось Сerezань. Там располагалось село, полностью уничтоженное гитлеровцами. В Сerezани стоял храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный ещё в 1780 году. Бабушка Клава рассказывала мне, что в храме служили два священника, один — высокий и красивый, другой — некрасивый и гудосый, по прозвищу Гундяй. И большинство прихожан по праздникам стремились попасть на исповедь и причастие к красивому, и лишь немногие — к отцу Николаю. Однажды во время Пасхальной службы к отцу Николаю прибежали с дурной новостью — горит его дом.

— Бегите скорее тушить!

Но он ответил:

— Сейчас мой дом здесь, и он не горит, а радуется Христову Воскрешению.

Под утро он вернулся из храма к пепелищу, а на Светлой седмице попросил у людей коня и телегу, объехал все окрестные деревни и сёла, и всюду ему щедро подавали милостыню. Насобирав так много, что заново отстроился лучше прежнего. И все ему помогали возрождать жильё. После этого случая его стали так крепко уважать, что говорили:

— Чего это раньше нам казалось, что он гундосый! Не гундосый он никакой, хорошо служит, чисто поёт.

И почитателей у отца Николая стало с тех пор больше, чем у красивого священника. И даже Гундяем его перестали за глаза называть, а лишь с превеликим почтением: “Батюшка отец Николай”.

Про Серезань бабушка Клава пела, когда долго шёл дождь:

*Дождик, дождик, перестань!
Я поеду в Серезань.
Богу помолюся,
Христу поклонюся,
Свечечку поставлю,
Грехов поубавлю.*

— А когда ходили у Серезань, — рассказывала она мне, — то дед, бывало, сапоги — за спину и идёть босиком, а только когда у храм входить, тогда надевает. Оттого у него сапоги подолгу держались.

Стало быть, в молодости дедушка Тимоша всё-таки в церковь хаживал по праздникам и лишь потом, под влиянием старших братьев, стал безбожником. Креста не носил ни в какую. Так же и мама. Хотя бабушка время от времени страшала их.

12 июля 1967 года мы вернулись из Серезани, и я стал свидетелем убийства барана. Помню это так живо, будто видел вчера. Зрелище было жуткое, но больше всего меня поразило то, с какой покорностью баран шёл на смерть. Он почти не сопротивлялся, не противился, не возмущался. Возможно, если бы он рвался и кричал, я бы потом месяц не мог бы уснуть ночью. А так, при всём ужасе картины, я не пережил эту смерть как трагедию. Даже обезглавленные и куролесающие по двору окровавленные куры производили более жуткое впечатление.

Потом, когда уже сели есть этого барана, я услышал из уст бабушки Клавы историю про её деда. Он в молодости сильно страдал от болей в печени. И вот однажды стал резать барана, перепилил ему ножом горло, а баран вдруг вырвался и побежал прочь. Добежал до колодца и прыгнул туда, в колодец. И тогда бабушкин дед почему-то решил:

— Отныне больше не буду есть баранину.

Перестал её есть, и вскоре у него исчезли печёночные муки. Так всю жизнь не ел бараньего мяса и дожил до девяноста лет.

А в Якушкине из барана бабушка Клава приготавливала волшебные лакомства! Прежде всего, на сковородку, смазанную маслом, резала много репчатого лука, его заливала свежей бараньей кровью и ставила в печь. Получалась вкуснейшая кровяная запеканка с луком. Потом — кишки. Их тщательно очищала, резала на трубочки длиной с палец, клала в большой горшок или котел, заливала молоком и долго томила в печке. Вспоминаю — и слюни рекой текут! Ну, а уж потом из остальной требухи и мяса приготавливала всякую всячину — густой бараний суп, шашлык, фаршированный желудок, тушёнку и запечённую в печи печень. Отдельно что-то делала из головы, но я этого не пробовал — брезговал, как ни странно, хотя не брезговал ни кровью, ни кишками.

Вторым праздником, когда резали овцу или барана, было 10 августа, праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой “Одигитрия” — “Путеводительница”. На Смоленщине этому дню придают наиважнейшее значение. “Одигитрия” здесь, пожалуй, третий праздник после Пасхи и Рождества, а в сельской местности и вовсе, наверное, самый главный день в году. Деревенские жители называют праздник “Одигитрии” на свой лад — “Игитрия” или “Йигитрия”. И всем им это слово кажется красивым, величественным, неземным. Во всяком случае, во второй половине XX века это было именно так. А ведь тогда религиозные праздники отмечать не вполне разрешалось. И даже казалось, вот-вот и их снова запретят, как бывало в тридцатые и пятидесятые годы.

Сенокос запомнился из детства как нечто одновременно и радостное, и тягостное. Запах свежескошенного сена восхищал до умопомрачения, на-

дышавшись им в детские годы, я мог хоть как-то компенсировать ущерб от городских ядов в будущем. Радостно было, что все участвуют в общем труде-празднике, что все трудятся весело, будто пляшут. Косить мы, конечно, только пробовали, а кидать и ворошить скошенное нас заставляли по полной программе, без скидок. Мы уставали, особенно младшие, но поблажек не получали, работали до мозолей и дальше. Когда сено высыхало, его начинали копнить. Тут уж для нас особенное развлечение — по новеньким копнам ползать. Потом копы начинали стоговать — ещё лучше. Наконец, готовое сено свозили домой и забивали в сарай. Получался свежий сеновал, на котором мы спали. Особенно помнится, как весело работал Слава, — он всё время смеялся и неустанно двигался, будто стараясь наработать больше всех, махая косой или вилами. Самый старший, Гена, в это время служил в армии, и Слава будто хотел и за него отработать. Он всегда был золотой парень — со всеми добрый, весёлый и ласковый.

После окончания сенокоса мы ездили в гости к родственникам. Больше всего запомнилось путешествие в Алфёрово, где жила с мужем и дочерьми бабушкина племянница тётя Нюра. В 1942 году её увезли в Германию, в рабство. По пути она пыталась бежать с поезда, и немец-конвоир прикладом ружья выбил ей все передние зубы. Потом, в Германии, хозяйка, у которой тётя Нюра была рабыней, за хорошее поведение вставила ей железные зубы. “Хорошая она была, добрая”, — вспоминала тётя Нюра о своей рабовладелец-немке. После победы она вернулась домой, и не сказать, чтобы её особо преследовали за то, что она работала в Германии. В Алфёрове тётя Нюра работала заведующей столовой. Треугольные мясные котлетки, которыми она меня потчевала, были такие вкусные, что я мог поглощать их без счёта.

Вообще немцы оставили о себе скверное впечатление на Смоленщине — грабили, зверствовали, издевались. Никто не поминал их добрым словом. Мы, играя в лесу, купаясь в реке, часто находили немецкие каски, в большинстве своём ржавые, но однажды я нашёл в Китайке — притоке Вязьмы — особенную каску. На ней сохранилась серебристо-голубая краска и белый щиток с двумя черными эссовскими молниями. Возможно, она сохранилась благодаря особой щелочной глине, которой славилась Китайка. Из этой глины можно было делать мыло, оно мылилось и пузырилось почти как настоящее. Странно, что советские каски мы находили раз в десять реже, чем гитлеровские. Пойдём, бывало, по ягоды или по грибы — обязательно кто-нибудь с каской возвратится. Немецкие каски мы ставили на палки и расстреливали камнями или из рогаток.

Однажды около Якушкина, расположенного на автострате Москва—Минск, притормозил автобус, из которого по всей деревне рассыпались наглые немецкие туристы. Они принялись щёлкать фотоаппаратами, выбирая самые неказистые строения. Особенно много фотографировали Юрку, потому что он был тощим, как скелет, и его можно было выдать за голодающего советского ребёнка. Гуня не замедлил отомстить — одна из наиболее жирных туристок принялась живописать небогатое Якушкино на холсте, и Юрка, подкравшись к ней из-за спины, ляпнул на холст огромный кусок грязи. Валера тоже привлёк внимание туристов, они сунули ему в руку жвачку, он развернул её, положил в рот, пожевал, нарочито скривился и сплюнул с самым гадливым выражением лица. Напоследок, когда немчура садилась в автобус, мы забросали незваных гостей шишками. Знай наших!

Старый и тощий конь Альбом тоже был многожды сфотографирован интуристами. В другой раз он спас меня и Гуньку от неизбежного наказания за куренье. Однажды Гунька стащил у отца папиросу, мы отправились с ним на Китайку и там выкурили её без какого-либо удовольствия, но старательно делал вид друг перед другом, какое это счастье. Потом мы долго полоскали рты, наивно полагая, что так отобьём запах. Когда вернулись домой, моя мама тотчас всё учуяла и разразился скандал. Никто не собирался за нас заступаться.

— Ах вы, гадины негодные! — возмущалась бабушка Клава. — Ну уж щипца Нина вас выжарит!

Но когда моя мама появилась с ремнем, случилось происшествие с Альбомом. Старика так сильно ужалил слепень, что конь, запряжённый для какой-то надобности в телегу, взвился и понёс. Об пеньки телегу расхряпало вдребезги, мы долго ловили Альбома по лесу, а когда поймали, успокоили и привели домой, про наш грех все позабыли.

— Помнишь, бабушка, Альбома? — спрашивал я много лет спустя, когда мы с ней жили вдвоём в её последние годы.

— Коня-то якушкинского? Помню, а как же ж. На твоего деда Тимоху был чем-то похож.

— Скажешь тоже! А помнишь, как мы с тобой сено косили, коров пасли?

— Кто ж такое забудет... Эх, хорошо бы коровок напоследок попастить... А помнишь, как меня Ночка лягнула?

— Конечно. Ты ей всегда перед дойкой кусок хлеба давала, смоченный в молоке. А один раз забыла.

— И она меня ка-а-ак лягнула! — со смехом вспоминала бабушка.

И так мы, бывало, сидели с ней и смеялись, вспоминая счастливые мгновения жизни, большинство из которых было связано с деревней.

— Щевой-то мы с тобой смеемся много, не пришлось бы плакать, — наконец говорила бабушка. И ей становилось грустно:

— Ну вот, их теперь уже нет на свете. Ни доченьки моей Ниночки, ни племянничка Мишеньки, ни деда Тимохи. Сёстры мои все уже там... Одна я задержалась, никак не помру. Ты, молодой, живёшь тут со старухой. Сдал бы ты меня в престарелый дом.

— Опять?

— Я не шучу.

— Завтра?

— А хоть бы и завтра. — Она стряхивала с себя грусть, предвкушая, как завтра начнётся игра в престарелый дом.

— Ладно. Завтра так завтра...

ХРИСТОС ТАНЦУЕТ

Мама с детства причучала меня быть галантным мужчиной. Когда мы с ней куда-то ходили вдвоём, я учился подавать ей руку, выходя из автобуса или вагона метро. Иногда днём шли с ней в ресторан, чтобы я осваивал искусство ухаживания — придвигал маме стул, подавал меню, наливал напитки, накладывал в тарелку салат и закуски, сам расплачивался. Разумеется, деньгами, которые заблаговременно она мне выдавала, и сдачу по возвращении домой я ей возвращал.

А вот что делать, если возникнет конфликтная ситуация и надо будет заступить за честь женщины, мама в точности не знала. Просто говорила:

— Ты должен идти грудью на врага, невзирая ни на что. Честь важнее всего.

Когда я окончил четвёртый класс, мы с мамой вдвоём поехали на три недели в Одессу. Там жила одна её знакомая, она помогла нам снять за небольшую плату комнату в большом богатом доме на Китобойной улице. Мне очень нравилось название — Китобойная. Хотя по здравом размышлении смешно. Одесский юмор. Ну, какие в Чёрном море киты? Какие в Одессе китобойи?

Ещё когда мы отправлялись из Москвы, случилось чудо. Я впервые летел на самолёте. Это уже возбуждало меня. А тут ещё такое! Появился какой-то пассажир, которому крайне срочно надо было лететь. И маму попросили, чтобы я уступил ему место. А меня — о Боже! — взяли в кабину пилотов. И мало того — посадили в стеклянный нос Ту-104. Я сидел впереди всех, в клюве самолёта! Разве что дети лётчиков могут похвастаться таким, да и то, полагаю, что далеко не все. Я был как замороженный, не обращал внимания на то, что заложило уши. Правое отлегло через неделю, а левое оставалось заложеным целый месяц и стало нормально слышать только в Москве.

Итак, мы прибыли в Одессу. Рано поутру мы шли на пляж. Накупавшись, отправлялись завтракать. Приходилось минут двадцать выстаивать

в очереди в столовку, отчего аппетит повышался, и запах сосисок дразнил слюну. Потом снова пляж, а днём — обед, обязательно в одном облюбованном нами ресторане у моря, где нам очень нравились котлеты по-киевски по пятьдесят копеек порция. После обеда — посещение достопримечательностей. Вечером — опять пляж, с которого мы возвращались усталые. Ужинали дома. Бутерброд с колбасой, мои любимые кабачковая икра или консервы “Частик в томате”, чай. Мы ходили в Одесский театр на “Сказку о царе Салтане”. В археологическом музее меня ужаснула египетская мумия. Чёрная, в серебряном гробу. До такой степени, что я ещё полгода потом видел её перед закрытыми глазами, ворочаясь перед сном.

Однажды мы стояли на лесенке в очереди в ресторан. За нами оказался южного вида красавец, он стал приставать к маме, причём как-то нагло, без сомнения в своей привлекательности. Мама не выдержала и сказала ему:

— Да отстань ты от меня, что привязался!

Он опешил и некоторое время стоял обиженно, молчал. Но через минуту злобно прошипел:

— Эсли нэ пайдешь со мной — заррррежу!

Не знаю, как мама, но я сильно испугался. Так сильно, что едва не писнул в штаны. И в следующий миг, сам того от себя не ожидая, выпалил:

— Да я тебя сам зарежу!

От собственной смелости мне стало ещё страшнее. Но тут нашего агрессора кто-то окликнул, и он оставил нас в покое.

Потом я несколько дней постоянно озирался, не появится ли этот монстр. И он появился. Мы шли по набережной около белых шаров Ланжерона. И вдруг он. Нам навстречу в обнимку с какой-то девицей. Я затаил дыхание. Но при виде нас он не разозлился и не бросился меня бить, а вдруг усмехнулся и задорно подмигнул мне. А маме сказал:

— Здравствуйте.

Возможно, вспышка той трусливой смелости явилась моим первым мужским поступком в жизни. Гораздо позже, бывая в местах, где шла война, я спрашивал парней, насколько им страшно. И оказалось, что всем страшно, но в минуты боя изнутри, из самых глубин страха, рождается смелость, которая ведёт человека сражаться.

В Одессе мне очень нравились фруктовое мороженое в шоколадной глазури, мелкие креветки, которых там называли рачками и щелкали вместо семечек, покуная в кульках по пятаку, нравились стройные прямые улицы с красивыми европейскими фасадами домов, бульвары, фонтаны, запах множества цветов. Нравилось героическое прошлое этого города. Мы с мамой ходили на экскурсию в катакомбы, и я восхищался тем, как люди могли жить там и продолжать сражаться с врагами.

В детстве моя мама росла очень боевитой девочкой. Родилась в деревне, в Москву семья, состоявшая из моей бабушки Клавдии Фёдоровны, деда Тимофея Степановича и троих детей — Феди, Саши и Нины, — переехала перед войной. Когда, бывало, кто-то дерзнёт дразнить мою маму: “Дярэвня! дярэвня!” — она бросалась с кулаками и побивала любого. И за ней закрепилось прозвище — Нинка-ой-ёй-ёй. А дядю Сашу за его страстную любовь к халве прозвали Халва.

Когда моего деда взяли на работу в Метрострой, семья стала жить в Измайлово. Самое яркое воспоминание мамы о войне — как она бежит по улице, а за нею рвутся бомбы. Измайлово бомбили, поскольку там располагались подземные ангары с танками. И бункер Сталина, о существовании которого немцы, возможно, знали.

Но самое-самое яркое — Победа, которую мама пережила в тринадцатилетнем возрасте и всю жизнь несла в своём сердце радостный огонь этого великого дня.

В пятнадцать лет она уже работала монтажницей, доучиваясь в вечерней школе. С детства любила литературу, знала наизусть много стихов, в год 150-летия Пушкина заняла призовое место в конкурсе чтецов. В восемнадцать лет в её жизнь навсегда вошла пишущая машинка. Знать машинопись тогда для девушки, желающей найти хорошую должность, было столь же

необходимо, как сейчас владеть компьютером. В аттестате об окончании курсов машинописи у неё стоят оценки: машинопись — 5, биография И. В. Сталина — 5, русский язык — 5. И это не пустые оценки. На машинке она печатала с рекордной скоростью, не заглядывая в клавиши. Грамотность у неё была стопроцентная, острейшее чутье на правописание и пунктуацию. Биографию Сталина она и впрямь знала назубок, хотя любила вождя не так горячо и безумно, как мой отец, который лез его целовать в гробу. К Иосифу Виссарионовичу мама относилась сдержаннее остальных членов моей семьи, и неспроста. День рождения у неё приходился на 22 декабря, а у Сталина — накануне. Все собирались 21 декабря, поднимали тосты за него, за нашу несокрушимую Родину, за полководцев, с помощью которых Сталин разгромил врагов... И где-то под занавес торжеств вспоминали:

— Да, у нас же ещё у Нинки завтра день рождения! Давайте за Нинку выпьем! Ниночка, за тебя!

И как таковой её собственный день рождения на завтра уже не праздновали, он съедался и вышивался вприкуску к Сталину на самый десерт.

— Вечно этот Иосиф Виссарионович передо мной влезал! — ворчала потом мама.

В июле 1951 года мама из рабочего класса перешла в разряд интеллигенции — стала работать картотетчиком отдела по регистрации и учёту награждённых канцелярии Президиума Верховного Совета СССР. И, разумеется, с лёгкостью всем говорила:

— Где работаю? В Президиуме Верховного Совета.

Через год Нина Тимофеевна Кондрашова — уже не картотетчик, а делопроизводитель.

Она была очень весёлая, обожала танцевать до упаду, на всех молодых фотографиях — на лице улыбка, в глазах задор и даже некая шалость. Бабушка рассказывала, как однажды мама вернулась домой пьяненькая, она хотела её побить, но мама так смешно пела про Трансвааль, что рука не поднялась.

*Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...*

Сразу же оговорюсь, что я в своей жизни видел маму пьяненькой, но никогда пьяной.

Верховный Совет, Верховный Совет, а платили немного, и мама всегда подрабатывала. Одно время по вечерам продавала билеты на карусель в Измайловском парке.

— А что, здорово! Всегда видишь радостные лица людей в предвкушении катания. Особенно дети. Они так и трепещут, как птички. Глазки горят, от нетерпения подпрыгивают...

На эту карусель занесло и моего отца. Он тогда крутился с двумя сестрами-близняшками Ниной и Людой, не мог выбрать, которая ему больше нравится. Пришёл с ними кататься на карусели и вдруг увидел красивую шатенку с лучистым взглядом серых глаз. И влюбился. А сестры-близняшки отвалились, как два крыла, которые принесли его к моей маме и теперь стали ненужными.

Нина и Люда впоследствии станут знаменитыми. Нина Ерёмкина — баскетболистка, чемпионка мира, затем спортивный комментатор. А Люда — известный хирург-онколог. По иронии судьбы, когда через много лет моя мама заболела, то окажется в центре Блохина в отделении, которым руководила Людмила Ерёмкина.

— Я Юра, а ты? — спросил мой отец.

— Нина.

Он отлучился и принёс ей мороженое с выбитым на вафле именем “Нина”. Так они познакомились. В те годы всех завораживала красота актрисы, сыгравшей Любаву в “Садко”, Анну в “Анне на шее”, Оливию в “Двенадцатой ночи”. Алла Ларионова родилась в том же 1931 году, как и моя мама. И была на неё похожа всеми чертами лица. Нос, губы, уши, очертания

скул, подбородка. Только волосы у моей мамы темнее, лоб более утончённый и глаза совсем другие. Вроде бы такие же, но, как бы помягче сказать... Честнее.

И отец мой был неплох собой, считал себя “мастрянистым”, пробовался на “Мосфильме”, даже играл в эпизодах. Ему бы очень подошла роль прожигателя жизни, повесы, сумасброда. Но таковых не подвернулось, и актерские дарования Юрия Лукича Сегеня канули в безвестности.

Итак, они сошлись. Смесь получилась гремучая — пиво с шампанским.

— Познакомились на карусели, так карусель у нас и получилась, — вздыхала потом мама.

Отец поступил на курсы судовых операторов при Московском учебно-курсовом комбинате Министерства рыбной промышленности СССР. Здесь уж он учился хорошо — ему хотелось жениться на Нине Кондрашовой, и надо было проявить себя.

Маму зачислили на должность делопроизводителя канцелярии Главной военной прокуратуры при Канцелярии Президиума Верховного Совета СССР. Отец страшно ревновал её, потому что вокруг умной и хорошо образованной красавицы всегда вертелись другие претенденты. Но летом он все-таки добился её согласия, и они поженились. Маме было двадцать три года, отцу — двадцать два. Отец неплохо закончил курсы, получив тройки лишь по английскому языку, радиомонтажной практике и морскому делу, четвёрки — по географии, электротехнике, радиотехнике и электровакуумным приборам, передающим устройствам и электропитанию, приёмникам, типовой приёмно-передающей аппаратуре, приему на слух, уставу рыбопромыслового флота и правилам радиосвязи и даже две пятёрки — по истории КПСС и по передаче на ключе.

Всю осень и зиму он проходил практику в Новороссийске и в будущем намеревался плавать “по морям — по волнам, нынче здесь — завтра там...” А потом — возвращение домой, к истосковавшейся жене...

Весной 1956 года отец вернулся в Москву. Очень счастливый год в их жизни с мамой. Все именно так, как видел свою жизнь Юрий Лукич. Он уезжал в длительные командировки, потом возвращался домой к любимой и любящей жене. Впрочем, он её страшно ревновал, изводил ревностью, подозревал в неверности.

Мама по-прежнему работала в Главной военной прокуратуре. В её трудовой книжке есть любопытная запись: “Клятвенное обязательство дано 26 мая 1956 года”. Вероятно ей были поручены какие-то секретные дела. Вот бы увидеть, как она давала это *клятвенное обязательство*. И какое.

Потом отношения между моими родителями резко ухудшились. Нередко бывало так, что она ночевала в бараке у своих, а он — в “трамвае” на Петровке. Трамваями тогда назывались узкие и длинные комнаты в коммунальных домах. Петровка дом 20 квартира 42 — такой был адрес Сегеней. Барак, где жили Кондрашовой, располагался на Измайловской площади напротив Дома культуры строителей. В дни примирений мои родители жили то у Кондрашовых, то у Сегеней. Конечно, они мечтали о собственном жилье, а оно всё не светило им и не светило.

В июле 1957 года маму уволили из Прокуратуры по сокращению штатов, и ей пришлось устроиться продавщицей в магазин головных уборов и меха. Какой удар по самолюбию! Осенью между моими родителями произошёл разрыв. Они даже договорились о разводе, только ни он, ни она пока не брали на себя разводные хлопоты. Лукич опять отбыл в Новороссийск.

Однажды в магазин заглянул командировочный латыш молодой инженер из Риги по имени Бруно. Он так влюбился в красавицу продавщицу, что сразу сделал маме предложение. И она поехала с ним встречать Новый год на Рижском взморье. Они много гуляли по Риге и Юрмале, он фотографировал её, и ей нравилось, как он ведёт себя, — и с обожанием и вежливо. По сравнению с Сегенем Бруно казался положительным героем, будущим надёжным мужем, интеллигентным европейцем.

Вернувшись в Москву, мама всю весну переписывалась с Бруно, но всё оттягивала с ответом на его брачное предложение. Латыш писал, что летом приедет и повезёт её на юг в предсвадебное путешествие, умолял развестись

с мужем. Но в мае мой отец примчался к моей маме, и она поняла, что всё-таки любит этого непугёвого и взбалмошного человека, по сравнению с которым Бруно уже выглядел излишне правильным, без искры, попросту — скучным. И она отправила ему письмо, в котором просила прощения и сообщила, что снова сошлась с мужем.

Трудно даже представить, что я мог родиться в Риге. Латышом! И потом, как дурак, носился бы со своим национальным самоопределением, обвинял “русских оккупантов” во всех бедах янтарной Прибалтики... Мурашки по коже!.. Нет, это никак не должно было произойти.

А для моей мамы лето 1958 года стало счастливейшим в её жизни с моим отцом. Она уже работала инспектором по кадрам и машинисткой в комбинате питания. В начале июля они отправились все вместе на Смоленщину в деревню Якушкино — отец, мама, бабушка Клава и дедушка Тимоша. В Якушкине жили бабушкины и дедушкины родственники — Кондрашovy, Петровы, Карпушovy. Там на сеновале в середине июля 1958 года я был зачат моими незабвенными и дорогими мамой и папой.

Отец дал слово больше не уезжать, расстаться с морем, найти другую работу. Осенью он поступил на водительские курсы при Центральной телеграфо-станции. Некоторое время жили на Петровке, но бабушка Софья, отцова мать, была очень недовольна возвращением своего сына к Нине, потому что перед этим она пыталась свести его с другой женщиной, казавшейся ей куда более подходящей, чем моя мама. Новый год мои родители праздновали в бараке на Измайловской площади.

Год от Рождества Христова 1959-й я встречал в животе у мамы. Мне плоду шёл шестой месяц. Как там было, я, сколько ни силюсь, припомнить не могу. Незадолго до Нового года по совету врачей моя мама перестала работать машинисткой и в декабре, январе, феврале и марте работала поваром на фабрике-кухне № 11 Сталинского района. Возможно, поэтому мне так нравится готовить еду, ведь в период внутриутробного развития я вместе с мамой большую часть времени пребывал в атмосфере приготовления пищи.

Сталинским районом тогда называлось Измайлово. И это при том, что культ личности был уже вовсю разоблачён и развенчан. У меня и в свидетельстве о рождении сказано, что я родился в Сталинском районе. И даже улица сбоку от Измайловской площади называлась улицей Сталина.

В отличие от первых последние месяцы беременности мама переносила тяжело — у неё начались неприятности с почками и щитовидной железой. Вплоть до того, как я появился на свет, врачи опасались за жизнь моей мамы. Но всё, слава Богу, обошлось благополучно. И я родился, и мама осталась жива-здоровая.

Отец в эти дни в очередной раз помирился с мамой. Настолько, что она даже хотела меня назвать Юрой в его честь. Был бы Юрий Юрьевич! Нечто уж очень юркое. Но когда мама меня впервые увидела, она по каким-то ей одной известным признакам распознала во мне Сашу:

— Да нет, какой же он Юра? Он Саша.

Из роддома на Благуше нас выписали на Страстной неделе, и потому мама впоследствии уверяла меня, будто я родился в Светлое Христово Воскресенье. И в этом заблуждении я прожил до сорока лет, говоря всем, что родился в Пасху. И лишь в 1995 году с помощью формулы Гаусса я высчитал пасхалию 1959 года, подарив себе разочарование. Ведь до чего же лестно было тешить себя сознанием, что ты родился в главный православный праздник.

Вскоре меня окрестили в Измайловском храме Рождества Христова. Верная деревенским обычаям бабушка настояла на том чтобы совершить обряд как можно быстрее, и меня крестили двухнедельного.

Ровно через два года после рождения я разделил судьбу мамы в отношении дней рождения. 12 апреля 1961 года день моего рождения стал Днём космонавтики, и с этих пор, когда собирались друзья и родственники, они поднимали бокалы за Гагарина (за Юру!), за всех наших космонавтов, за всю нашу космонавтику, за Циолковского, за дальнейшее освоение космических пространств и так далее, а уж потом:

— Давайте не забывать, что у нас ещё сегодня у Сашки день рождения. А вот о Сталине с каждым годом вспоминали всё реже и реже, 21 декабря перестали собираться, отныне собирались 22-го, и мама была довольна: — Наконец-то он прекратил мне день рождения своим заслонять!

Эх, с отцом они вскоре после моего появления на свет развелись. Он теперь работал дальнбойщиком, возил грузы аж до Дальнего Востока и обратно, в Хабаровске познакомился с некой Ларисой и, разведясь с мамой, женился на ней.

— Нашёл себе хабалку из Хабаровска, — естественно, говорила мама.

А как раз в это время условия жизни всей нашей семьи улучшились. Дед, бабушка, мама и я получили двухкомнатную квартиру в хрущёвке, а мой крёстный дядя Саша с женой Светой и сыном Андрюшей — однокомнатную в том же доме, только в соседнем подъезде. Теперь мои мама и папа могли бы иметь свою комнату, а я жил бы с бабушкой и дедушкой, но — увы...

Когда мы поселились на Третьей Прядильной, там ещё оставались деревянные дома, деревенские, ведь некогда тут была деревня Измайлово. Точнее — село, потому что имелся храм. Церковь так и называется — храм Рождества Христова в селе Измайлово.

Вселение в новую квартиру, обживание её было таким счастьем, что этим летом мы никуда не уезжали из Москвы. Ещё от той весны осталось в воспоминании, как мама нарядила меня в новый костюмчик и красный в белую крапинку берет, похожий на мухомор, и в этих обновках меня вывели во двор фотографировать, а потом я, играя во дворе, так угваздал новый костюмчик, что мама меня отлупила. Вообще, когда я шалил, мама и бабушка били меня по жопе, спрашивая: “Мало попало?” И я потом, крихтя, почёсывал жопень: “Мало попало!” У бабушки Клавды ладонь была, как разделочная доска.

Телевизора у нас не было, и по вечерам мы с мамой ходили на пятый этаж к тётке Вере Феоктистовой смотреть “Спокойной ночи, малыши”. Возвращаясь, я пел на весь подъезд: “Спят усталые игрушки...” Вообще я с детства любил петь и в три года знал много песен. Любимыми были “Заправлены планшеты в космические карты...” и “Подмосковный городок”, причём в последней я, к неизменному хохоту взрослых, пел: “Незамужние ткачихи составляют большинство” вместо “составляют”. Вместо “Куба — любовь моя!” Это поют барбудос...” — “...Это поёт заблуда”. Меня всегда хотели видеть в маминых компаниях, потому что я обязательно веселил всех своей детской чепухой. Я выучивал все песни с пластинок и исполнял их перед гостями, когда кто-то приходил к нам или когда мы с мамой ходили куда-то. Все бывали в восторге, особенно от того, как ловко я изображал мимику разных исполнителей, которых показывали тогда по телевизору. Я даже по-иностранному выучивал песни, например, популярнейшую тогда “Марину”. Разумеется, приблизительно. И получалось примерно так: “Марина, Марина, Марина, ивильо кумпресто сеза. Дунья беломоре ноно ми лашари, номиренто ло-минаре, о но-но-но-но-но!”

Меня ставили на табуретку и просили спеть. Я пел про ткачих, про Марину, про заблуду и так далее, пока всем не надоело. Меня снимали с табуретки, которую уносили на кухню, но не тут-то было, я возвращался, ставил табуретку, залезал на неё и снова пел. Наконец, уже кто-нибудь возмущался:

— Да уберите же его! Ни поговорить, ни анекдот рассказать.

В декабре того счастливого года я едва не умер от воспаления лёгких, пережил кризис, когда врач сказал, что к утру я либо начну поправляться, либо надо ждать худшего. Мама, бабушка и дедушка сидели всю ночь у моей кровати. Удивительно, но я очень ясно помню, как бредил, как всю ночь метался, как под утро мне стало лучше, и я сказал: “Хочу чаю”, — а потом добавил: “И бегемота”. У меня тогда был любимейший резиновый бегемот, сделанный, как настоящий, тяжеленький такой, величиной с ладонь. Помню, как мама заливалась счастливыми слезами, а я с наслаждением пил чай и вокруг меня лежали мои любимые игрушки.

Летом 1963 года мы ездили на Чёрное море. В таком составе: я с мамой, мамина подруга тётя Лена с сыном Колей лет пятнадцати и моя крёст-

ная Тамара. Снимали домик в Очамчире у старой аджарки, которую все дружно называли ведьмой. Помню, я страшно полюбил сыр сулгуни, особенно поджаренный на сковороде. И ещё инжир, которым я однажды так объелся, что меня долго рвало. Море произвело на меня огромное впечатление. Я из него не вылезал. Поскольку Коля был значительно меня старше, я подружился со своими сверстниками. Один был турок, другой — аджарец. Каждый из нас разговаривал по-своему, но никакого отсутствия взаимопонимания не было.

Коля однажды совершил во имя меня подвиг. Я лепил что-то из пластилина, у меня плохо получалось, и я капризничал. Мама рассердилась, собрала пластилин в коробку и как зашвырнет её в море! А Коля пожалел меня, поплыл, стал нырять и принёс мне мой пластилин. Очень был хороший, этот Коля. Одно ухо у него было с рождения недоразвитым — только мочка, а раковина отсутствовала.

Вообще моя мама была скорая на расправу, и я ей за это очень благодарен. Однажды я видел, как какой-то мальчик, не получив желаемое мороженое, упал на спину и стал колотить об землю ногами и руками. Тотчас ему было куплено и принесено мороженое. “Ага, — смекнул я, — надо будет этим воспользоваться”. И при случае повторил приём капризного мальчика. Мама спокойно принесла дедушкин ремень и так меня выжарила, что пару дней было больно присаживаться. Зато я навсегда усвоил, как отвратительны подобные фортели. В другой раз я был бит за то, что долго не шёл со двора по зову мамы, а когда, наконец, соизволил подойти, спросил нагло: “Ну, чего тебе?”

Забавный случай произошёл однажды, когда мама взяла меня в гости к какому-то дяде Лёше. Покуда поднимались по лестнице к нему домой, взрослые говорили о нём: “Этот Лёша такой проходимец!” И вот открывается дверь, и я объявляю:

— Здравствуйте, дядя Лёша-проходимец!

Разумеется, вечеринка была безнадежно испорчена. Меня отругали, но потом любили вспоминать про этот случай и, щекоча, говаривали мне: “Здравствуйте-здравствуйте, дядя Лёша-проходимец!” А я-то был уверен, что проходимец — это что-то очень героическое, человек, который через всё проходит, первопроходец. К тому же, у дяди Лёши была изумительная фамилия — Ягодкин.

Однажды у меня чуть было не появился отчим. Причём такой, какого я очень хотел. У мамы завязался роман с дядей Колей Голавлёвым. Дядя Коля был очень красивый, мужественного вида человек с перебитым боксёрским носом. Он и впрямь когда-то был боксёром. Впоследствии я вспоминал Голавлёва, когда видел в американских фильмах актёра Кевина Кэстнера, очень похожего на него.

Голавлёв меня любил, много уделял мне внимания, играл, возился со мной, и я обожал его добрые светлые глаза, весёлую улыбку, сильные мускулистые руки. Он учил меня драться, бегать, прыгать, стрелять в тире, учил ничего не бояться.

Вдруг оказалось, что он женат, у него есть дети, развестись он не может. Помню, перед самым Новым годом я сидел у мамы на работе, пришёл Голавлёв, и они с мамой долго, очень долго о чём-то тягостно говорили, и я время от времени возмущался:

— Ну, хватит вам!

А когда Голавлёв ушёл, мама заплакала и сказала:

— Больше у нас не будет дяди Коли.

И впрямь, больше я никогда его не видел.

Исчезновение Голавлёва я переживал, быть может, не меньше, чем мама. Однажды никого не было дома, кроме меня, когда появился мой отец. Он позвонил в дверь, я подошёл и спросил:

— Кто там?

— Это я, твой отец, — сказал он. — Открывай, Сашок.

— Я не могу открыть, — сказал я. — Никого нет дома, и мне не веле-но никому открывать.

— Не валяй дурака, открывай, это я, твой папа.

— У меня нет папы, — горестно ответил я и ушёл в комнату.

Когда маму спрашивали, куда делся Голавлёв, видится ли она с ним, где он и что он, маму аж передёргивало:

— Не спрашивайте меня о нём! — И добавляла со злостью: — Иудушка Голавлёв!

Хотя, конечно, на персонажа Салтыкова-Щедрина дядя Коля не был похож нисколечко.

Когда я пошёл в школу, мама устроилась на новую работу — в трест “Мосремстроймонтаж” старшим инспектором по кадрам. Она купила себе чёрную шубу, которую я очень любил нюхать, когда мама приходила домой с морозца.

Вскоре у неё появился новый жених — Соколов. Почему-то я не помню, как его звали. Он был высокий и красивый; правда, не такой мужественно-красивый, как Голавлёв. Он появился у нас в доме в Первомай. Мы пошли с ним и мамой гулять в Измайловский парк, и он носил меня на плечах, высоко-высоко. Потом он спросил меня, хочу ли я быть его сыном, и я сразу ответил:

— Хочу.

— Договорились, — сказал он таким тоном, что отныне не должно уже было оставаться никаких сомнений.

Отныне я стал называть себя Сашей Соколовым. К тому же и этот подлец Соколов раззадоривал меня:

— Красиво звучит: Александр Соколов. Почти как “Шампанское”!

Он, как и Голавлёв, оказался женатиком, у него была дочь Юля, и он спрашивал:

— Хочешь, чтобы у тебя была сестрёнка Юля?

Я хотел. И когда в школе мы учились писать заглавную букву Ю, я с какой-то особой сладостью в сердце красиво выписывал: “Юля”. Однако тогда же мечты и рухнули. Когда мама поставила вопрос ребром, Соколов с трагическим видом вернулся в свою семью.

Снова я стал для неё не только сыном, но и спутником по кинотеатрам, театрам, выставкам, музеям и паркам. Чаще всего мы, конечно, ходили в кино. Тогда появились “Операция Ы” и “Кавказская пленница”, на которые мы ходили раз по двадцать, и всякий раз обхохатывались до колик в животах. В театр ходили реже, но тоже довольно часто. Несмотря на это, театралом я не стал. В ТЮЗе и Детском театре меня раздражали тётки, игравшие мальчиков. В особенности на всю жизнь я возненавидел Лию Ахеджакову, в те годы как раз имевшую амплуа трагесты. В шестидесятые годы она играла советских пионеров, в девяностых она же будет с кровавым оскалом требовать от Ельцина, чтобы тот убивал советских людей, а при Путине — чтобы украинские фашисты убивали русских в Новороссии.

С 1968 года мама работала на должности инженера труда и заработной платы в производственном объединении “Тракторремстроймонтаж”. Здесь она проработает почти до конца своей жизни.

В тот год погиб Гагарин. В это не хотелось верить. Все кругом плакали. Я впервые в жизни ощутил, что погибла какая-то часть меня. Я долго ещё потом всё ждал и ждал, что обнаружится ошибка, что погиб не Гагарин, а кто-то другой. И мне не хотелось, чтобы своим Днём космонавтики он не заслонял мой день рождения. Пусть заслоняет сколько угодно!

Мне кажется, именно с этого дня началось медленное разрушение СССР. Юрий Алексеевич унёс с собой в могилу всю эпоху наших великих побед.

В Одессу мы с мамой ездили в 1970 году, и вскоре у мамы появился новый “человек”. Именно так она мне, помнится, сказала:

— У меня новый человек появился.

Мне это жутко не понравилось. И тоже женатый. Куприянов. Мама почему-то считала, что это изумительно красивая фамилия. Может быть, потому, что тогда зачитывалась Куприным, которого мы получали по подписке. Бунин и особенно Куприн стали её любимцами. Куприянов был кудрявый, за что я про себя прозвал его Кудрияновым. Он со мной почти не общался.

И как-то заведомо уж было понятно, что от своей семьи, чтобы жениться на моей маме, он не уйдёт. Мама тайно и безнадежно встречалась с ним года два. Это было грустно.

В те времена я стал увлекаться живописью. Началось всё с посещения Третьяковки, после которой я распотрошил все залежи журнала “Огонёк”, вырезав из них репродукции картин, они там печатались из номера в номер. Репродукции я развешивал и расставлял, где только можно, превращая наше жильё в картинную галерею.

В Третьяковку мы ходили много раз. Однажды мама надолго остановилась перед картиной Крамского “Христос в пустыне”. Потом сказала:

— Как же ему больно!

Я внимательно взгляделся и действительно увидел, что Ему больно. Об-раз Христа впервые вонзился в моё сердце.

А потом мы стали ходить в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, и там случилось моё второе познание Христа. Однажды мама замерла перед копией “Преображения” Рафаэля. Смотрела, смотрела, вдруг улыбнулась и промолвила:

— Смотри, а Христос танцует!

Меня это почему-то покорило, хотя я был пионер и атеист, ещё не так давно выбросивший свой крестильный крест, потому что боялся, как бы кто не увидел его, ведь тогда меня могут, чего доброго, и не принять в пионеры! Но тут что-то кольнуло во мне. Ещё сильнее, чем перед картиной Крамского. Там Ему было больно, а тут Он танцует... Можно ли вообще сказать о Христе: “танцует”? Танец и боль соединились в моей душе, и получился зародыш веры.

А мама сказала:

— Вообще-то я верю, что Что-то есть. И в Христа верю. Но не в то, что Он Сын Божий, а что это был самый лучший Человек.

Мама всю жизнь искала Человека!

Обнаружив во мне ещё один талант — к рисованию, она напряглась и купила мне отличный набор масляных красок, не дожидаясь моего дня рождения. Но если акварелью у меня ещё что-то получалось, то с маслом я ничего не мог поделаться. Акварель — другое дело. Помню, моя акварель “Лето в Якушкине” заняла одно из первых мест на конкурсе детского рисунка в “Тракторремстроймонтаже”, и мне достался какой-то зелёный железный паровоз. Это была моя первая в жизни премия! Да и в школе преподаватель рисования, Николай Николаевич Заболоцкий, в первое время был мною очень доволен, но, когда мы стали изучать перспективу, тут выяснилось, что мой талант к живописи весьма ограничен. И Ник-Ник разочаровался.

Моё третье постижение Христа оказалось ещё более странным. В старших классах я увлёкся всевозможной рок-музыкой, среди которой затесалась и рок-опера Эндрю Ллойд Вебера на либретто Тима Райса “Jesus Christ Superstar”.

— Что тебе может в этом нравиться? — удивлялась мама.

— Вот послушай, — пытался я привлечь её на свою сторону. — Вот это Христос поёт.

И включал ей арию “Poor Jerusalem”, где Ян Гиллан красиво сокрушался о судьбе Иерусалима.

— Это, по-твоему, Христос поёт? — с иронией спрашивала мама.

А я только пожимал плечами. Почему Он танцевать на картине Рафаэля может, а петь в рок-опере — нет?..

За пару лет до этого у меня произошло полное разочарование в Ленине. Как бы это ни было смешно. До тринадцати лет я был убежденнейшим коммунистом, верил, что идеи Ленина рано или поздно восторжествуют, что в СССР, наконец, будет построено идеальное коммунистическое общество. На столе у меня стоял глиняный белоснежный бюстик Ленина. И вот я стал требовать от Ленина, чтоб он помогал мне с математикой. Уходя утром в школу, я угрожал ему:

— Если окажется, что опять за контрольную двойка, я тебя разобью об батарею!

Однажды, вернувшись из школы с очередной, пятой или шестой подряд, двойкой по математике, я восстал против вождя пролетариата, схватил его и с криком “Добился своего, лысый!” кокнул бюстик об батарею центрального отопления. Он рассыпался вдребезги, а вместе с ним и моя вера в идеалы коммунизма. Хотя, конечно, это слишком красиво. Я ещё долго верил в незыблемость идей построения совершенного общества на основе ленинского учения. Ведь через год я добьюсь того, что стану одним из первых комсомольцев в классе. Но как в божка с тех пор я в Ленина уже не верил.

И вот, после Крамского, Рафаэля и Вебера, появился Спаситель. Я взял свои масляные краски и на доске собственноручно изобразил Голгофу и три креста на ней на фоне лазурного неба. Икону своего производства я повесил над своей кроватью.

— Теперь молись ей, — сказала мама.

Но молиться я не умел, и Голгофа висела рядом с фотографиями рок-музыкантов — “Deer Purple”, “Pink Floyd” и так далее.

Потом я окончил школу, и началась моя самостоятельная жизнь, без мамы. То есть мама оставалась, но я уже не был её кавалером, её галантным ухажёром, с которым она могла бы пойти в ресторан, кино, картинную галерею. Я и дома-то редко жил, всё больше где-то, с кем-то... Маму и бабушку навещал, иногда на неделю-другую оставался с ними и снова исчезал из дома.

На пятидесятилетие я впервые подарил ей настоящие французские духи. А вскоре после этого она заболела. У мамы на внутренней стороне предплечья, возле локтевого сгиба, много лет была доброкачественная опухоль. Однажды она её нечаянно сковырнула, опухоль стала расти, а мама никому об этом не говорила, пока не стало ясно, что надо срочно обследоваться. Врачи сказали, что опухоль требует хирургического вмешательства, необходимо утраиваться в институт онкологии на Каширке. Но там заявили, что мест нет и не предвидится до самого лета. Онкологический центр, созданный академиком Блохиным, считался самым привилегированным институтом для больных раком. Мало кто получал из него путёвку в жизнь, большинство пациентов лишь ненадолго оживали, но потом всё равно уходили в мир иной, и в народе сие медицинское учреждение прозвали Блохинвальдом. Однако там были хорошие условия, а главное — прекрасные врачи, которые постепенно двигали науку и в итоге добились того, что в XXI веке рак перестал быть таким безнадежно страшным, как в предыдущие столетия.

Лечащим врачом в том отделении, где мама лежала, являлась одна из сестёр Ерёмных, за которыми когда-то давно ухлёстывал мой непутёвый отец. А непосредственным врачом мамы был какой-то неприятный молодой парень, весь в прыщах. Он смотрел на меня насмешливо и постоянно намекал на подарки. Я возил ему грузинский и армянский коньяк, который он брезгливо ставил в шкафчик, где можно было увидеть бутылки с более престижными французскими коньяками. В конце февраля он провёл операцию по удалению опухоли, но это не дало положительного результата. Маму ненадолго выписали, но в начале марта положили снова, стали готовить к повторной операции.

Мне никогда не забыть эту жуткую дорогу от метро к центральному входу в Блохинвальд. В феврале и марте она насквозь продувалась ледяным ветром. Врач требовал, чтобы я привозил маме всякие дефицитные продукты — грецкие орехи, натуральные соки, чёрную икру. Однажды, отхватив где-то три банки греческого грейпфрутового сока, я нёс их по дороге сквозь ветер и не смог удержаться от соблазна откупорить одну банку и выпить ее. Я пил, и слёзы катились из глаз от стыда за то, что я, такая сволочь, ворую у мамы одну из трёх банок с вкуснейшим соком... Очень живое страшное воспоминание!

Ещё хорошо помнится, как я, получив стипендию, пришёл в ресторан “Якорь” и спросил, нельзя ли мне купить полкило красной икры. На меня посмотрели с отвращением, велели сесть за столик и заказать икру порционно, да не только икру, а что-нибудь ещё. И мне пришлось заказать несколько порций икры и суп. Икру я сгрёб в заготовленную банку, суп съел, рас-

платился и ушёл под презрительные взгляды официантов. Этот трофей я довёз в целости, не украв ни икринки.

В марте моей маме сделали вторую операцию, ампутировали руку по локоть. Она тяжело приходила в себя, я утешал её, что теперь зато опасность миновала. В начале апреля маме стало вновь хуже, врачи начали готовить её к третьей операции. Она очень боялась признаться себе, что у неё рак, хотя это уже было очевидно. Бедная мама! Если случалось так, что я в какой-то день не мог приехать в Блохинвальд, она обижалась на меня, не хотела разговаривать, говорила обидное:

— Можешь вообще не приезжать!

Вскоре ей сделали третью операцию, отрезали руку теперь уже полностью. Затем провели сеансы облучения и в конце апреля выписали домой умирать, потому что метастазы поразили внутренние органы. В мае она ещё кое-как вставала, ходила, даже иной раз силы позволяли ей выйти погулять. Но к концу мая начались такие сильные боли, что она стала кричать на весь дом. Я с тех пор, как её привезли домой, поселился в Измайлове, ухаживал за ней. Когда боли сделались невыносимыми, стала приходиться медсестра и колоть маме омнопон — сильнодействующий успокаивающий боль наркотик. Медсестра показала мне, как делать инъекции, и я сам стал их делать. Сначала четверть часть ампулы, к концу июня — половину, а потом уже и по целой ампуле. Мама засыпала и стонала тихо во сне. Проснувшись, могла некоторое время разговаривать, но потом боль возвращалась, она начинала стонать, потом кричать, и нужно было вновь делать инъекцию.

Последний месяц был самым невыносимым. Мама спала под наркозом, а когда просыпалась, начинала кричать от боли уже через две-три минуты. Уколы приходилось делать всё чаще.

Когда я сидел у смертного одра матери и вглядывался в лицо умирающей, мне начинало казаться, что лицо смерти прекрасно, и что после ухода мамы я тоже должен уйти в мир иной. Мир этот стал казаться мне совершенно пустым. Я решил, что если останется омнопон, то через некоторое время после смерти мамы вколю его себе и покончу счёты с жизнью. За несколько дней до ожидаемой развязки я нарисовал мамино лицо, и оно, искажённое мукой и дыханием смерти, казалось мне прекрасным.

Мама умерла 2 августа 1983 года. Утром я сделал ей укол, но прежде, чем уйти в забытё, мама посмотрела на меня ясным взором и сказала:

— Вот теперь я всё поняла! Дай мне... — И она указала на свою шкатулочку, в которой у неё хранились все без исключения драгоценности — золотой перстень с александритом, серебряное колечко да золотая цепочка с эмалевым медальончиком, на котором была изображена Богородица с младенцем. Маленькая такая шкатулка, покрытая чёрным лаком, внутри — красным, а на крышке — скачущая тройка, в ней гармонист, лихие парни и румяные смеющиеся девушки. Мама открыла шкатулку и вынула из неё цепочку с медальоном, а я помог ей её надеть на шею. Потом она долго-долго смотрела на тройку, гармониста, парней и девушек, прощаясь с ними навсегда. Они примчатся куда-то, выскочат из саночек и будут танцевать, танцевать... Без неё.

Она уснула, а через час я сказал бабушке:

— Бабушка, ну, что ты сидишь тут, иди погуляй.

Бабушка послушалась меня. Уходя, сказала:

— Ну, я пойду чуть-чуть погуляю.

И вдруг из забытё раздался мамин голос:

— И я гулять!

При этом она оставалась без сознания. Эти слова “И я гулять!” оказались в её жизни последними. В полдень она очнулась, стала кричать, я сделал укол, она успокоилась. И вскоре ушла от меня навсегда.

Мне хотелось, чтобы было отпевание, но почему-то я не собирался везти маму в церковь, а сам встал при гробе и вслух читал Псалтирь. При этом надел на себя костюм и галстук. Я читал и читал Библию почти до самого утра, в каком-то полубезумном состоянии. И это был ещё один мой шаг ко Христу.

Похороны состоялись прямо в день рождения отца, который приехал и всё вздыхал:

— Эх, братцы, если бы вы знали, какая у нас с ней была любовь!

В первые две недели после похорон я сочинял скорбные элегии на смерть матери и вдруг вспомнил про омнопон. Посмотрел на мамин портрет, сделанный мною карандашом за несколько дней до её смерти, и теперь увидел ужас смерти, отшатнулся, устрасился его. Оставшиеся ампулы я не мог сдать обратно в поликлинику, потому что уже оставил расписку, что медикамент полностью израсходован, и меня могли привлечь за укрытие наркотика. Я просто закопал ампулы в Измайловском лесу глубоко в землю. Смерть стала отходить от меня.

На мамином надгробии я заказал вырезать ветку кленовых листьев. Она очень любила по осени набрать охапку и поставить в вазу. Говорила, что нет ничего красивее осенней листвы, особенно кленовой. Я любил приезжать на её могилу один, подолгу стоял и ждал знака — исчезла ли мама или она есть где-то в другом мире теперь. Однажды стояла снежная зима, и я сказал маме:

— Дай мне знак!

И вдруг почувствовал, что она стоит у меня за спиной. Резко оглянулся. В то же мгновение птица вспорхнула, с ветки обрушился ворох снега, и в этом снеге я на секунду увидел прозрачный силуэт.

Спустя годы я тоже сказал себе:

— Вот теперь я всё понял! Дай мне...

Купил крестик, серебряную цепочку, и стал носить символ заклания Спасителя во имя всех нас. На родные могилы поставил памятники с крестами. Стал соблюдать церковные установления. Сложным путём — через живопись и музыку, страдания и радости, обретения и утраты — я пришёл из тьмы неверия к свету и увидел, что если во тьме не заметно тёмное, то на свету оно обнаруживается. Без света нет тени.

Мама учила меня видеть прекрасное, понимать мир как нечто неповторимо величественное и великолепное. Она никогда не проходила мимо и всегда замирала:

— Саша, посмотри, как красиво!

— Какое бесподобное облако!

— Какое море сегодня необыкновенное!

— Ах, как это хорошо!

Несмотря ни на что, она никогда не унывала, всегда хотела гулять, танцевать, радоваться жизни, которая не слишком-то её баловала. И я верю, что ей все простилось, что, отчитавшись перед Всевышним, она обрела сладость утоления жажды прекрасного. И ей позволено увидеть, как...

...Христос танцует...